ГАЗЕТА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
№ 1(255) – 2018

К Р И Т И К А

ГАЗЕТА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
НАШ САЙТ: denlit.ru
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
denlitera@yandex.ru

"Не бойся быть русским"

Елена ГАЛИМОВА

О поэзии Марии Аввакумовой

Первый поэтический сборник Марии Аввакумовой "Северные реки" вышел в свет в 1982 году, а "Иду домой", седьмая книга её стихотворений, появилась в 2011-м. Три десятилетия живут её стихи в русской поэзии, привнося в неё свою, отчётливо различимую ноту.

И, смею думать, останутся в ней навсегда, пока сама поэзия и те, кому она надобна, будут жить на свете.

В одном из интервью Мария Николаевна упоминала, что начала писать стихи в девятнадцать лет, но потом последовал большой перерыв, когда казалось: стихи "прошли". Так что, когда поэзия "вернулась", Аввакумова сразу пришла к читателю не наивной юношеской лирикой, а стихами немало пережившего и перечувствовавшего взрослого человека, чьё детство пришлось на военные и послевоенные годы, а юность – на пору "оттепельного" брожения умов и триумфального шествия по площадям и стадионам поэзии, позже названной "эстрадной". Наверное, нелегко было стартовать в то время и не испытать её влияния. Но начинали – и Николай Рубцов, и Юрий Кузнецов, и Мария Авакумова, каждый – на свой лад. И потом, спустя десятилетия, стало ясно, что вызревала в ту пору мощная русская поэзия, вскормленная такой плодоносной традицией, что сил и жизнестойкости ей не занимать.

"Я поздний трудный сорт", "Я – одинокий плод на оголенной ветке", – пишет Мария Авакумова, определяя свою судьбу, человеческую и поэтическую. В отличие от юной Марины Цветаевой, с задорным вызовом воскликнувшей: "Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед", Мария Аввакумова назвала себя поздним плодом обдуманно и спокойно, уже многое поняв и о себе, и о жизни. И очень точно назвала. Плод на ветви древа. В этом выразительном символическом образе есть не только горестный ("одинокий плод"), но и победительный смысл, отчасти прямо выраженный в стихотворении ("Придёт и мой черёд… я засвечусь, как лампа на столе"), а отчасти – порождённый мифологическим смыслом образа древа, столь важного для Аввакумовой.

Поэтам, как правило, не нравится, когда их вписывают в какой-либо ряд, сравнивают с предшественниками и современниками. И это вполне понятно: и без того-то трудно, вплетая свои строки в плотный интертекст мировой поэзии, не затеряться в нём. Каждый человек ощущает, что его "я" уникально, неповторимо. А каждый большой поэт – единствен. "Не сравнивай – живущий несравним", – скажет Осип Мандельштам. Но это не мешало ему соглашаться с замечанием Николая Гумилёва: "Мы любим поэтов с длинной родословной". Гумилёв имел в виду, конечно, литературную "родословную", которую тот же Мандельштам считал истинной "биографией" поэта. Осознание принадлежности к могучему родословному поэтическому древу, как и знание человеком своих кровных предков, с одной стороны, даёт ощущение прочности, неслучайности своего существования, связи и переклички поколений, а с другой – порождает ответственность за собственную жизнь, за своё поэтическое слово, ибо они не только тебе принадлежат.

Мария Аввакумова знает своих предков до начала XVIII века. И очень ценит своё родословное древо (восстановить которое до седьмого колена, из-за его старообрядческих корней, ей было очень непросто), как ценит и "чудесное имя Мария", каким её нарекли в честь бабушки по матери (а для поэтессы важно и то, что мать протопопа Аввакума "звалась до иночества Марией"), и фамилию, укоренённую в русской истории и позволяющую вслед за Николаем Клюевым сказать: "гремел мой прадед Аввакум".

Конечно, литературное "родословное древо" не вырисовать с такой точностью, как семейное. Корни сплетаются, ветви срастаются, у этого древа вид может быть необычный и весьма причудливый. Но оно есть, это древо. И в случае с Марией Аввакумовой – живое и плодоносное.

Если сравнивать лирику Марии Аввакумовой не с плодом, а с ветвью, то можно сказать, что на мощном древе русской поэзии ветвь лирики Марии Аввакумовой – узловатая, крепкая и при этом очень красивая, скорее не благосеннолиственная, а оголённая, привлекающая не украшающими её цветами, а чётким, выразительным графическим силуэтом, неповторимым и незабываемым рисунком. От корней её питают глубинные, чистейшие воды живого русского слова – народного, как современного, так и древнего, и литературного, объединившихся ещё в писаниях протопопа Аввакума; близки ей – в силу этой общей чуткости к тайнам слова – Велимир Хлебников и Николай Заболоцкий; наследование мифопоэтических богатств русской крестьянской жизни роднит её с Николаем Клюевым, Николаем Тряпкиным (и отчество-то – Николаевна!) и Юрием Кузнецовым, экзистенциальный трагизм мироощущения и экспрессивный характер лирического высказывания – с Мариной Цветаевой. И эта напитавшая лирику Марии Аввакумовой богатая традиция помогает раскрыться её яркой индивидуальности.

Уже с первого сборника поэзия Марии Аввакумовой явила свою особую стать, но поначалу она проступала неявно, робко, словно побаивалась проявиться во всей своей оголённой сути. В ней удивительно сочеталось – и до сих пор ощутимо это – робость и отвага, сдержанность, закрытость и лирическая дерзость, потребность спрятаться, укрыться от мира и явить себя ему.

Но главное, наверное, отличающее её от многих, ощутимое уже с первого сборника, – свободное, вольное, не знающее узды русское слово. Этот первый сборник – "Северные реки" – получился ярким, заметным (сколь бы строго ни оценивала позднее поэтесса свои ранние книги). Предваряющийся кратким напутственным словом поэта-фронтовика Фёдора Сухова (который тоже имел старообрядческие корни) о Китеж-граде и всполошном звоне неистового слова протопопа Аввакума, он знакомил читателя с поэзией современницы, ищущей себя в настоящем, прошлом и будущем и ещё где-то, вне времени и пространства, в таинственном "там", где "тишины хрустальный звон".

Уже в самом первом, открывающем "Северные реки" стихотворении звучит голос, который впоследствии ещё окрепнет, напитается глубинной силой и красотой русского слова, голос, который словно принадлежит не только лирической героине Марии Аввакумовой, а самой русской судьбе:

– А что в реке течёт?
– Людей родимых лица.
– А в поле что растёт?
– Былье да небылица.
– А кто в лесу живёт?
– Бедняги да тихони.
– А кто тебя спасёт?
– Соломенные кони.
– А с чем останусь я?
– С обновою сосновой.
– А не в рубашке ль я родился?
– В ней. В суровой.

Стихотворения "Болотные песни", "Маме Поле", "Песенка для Оли", "Речь", "Путешествие", "Говорят, что красивой была…", опубликованные в первом сборнике Марии Аввакумовой, и сегодня остаются в числе лучших её стихотворений.

Мне особенно дорога "Пристань Тихонь" с её народным речитативом, плясовым ритмом, свободой интонационного рисунка и словоупотребления, с очень выразительными, экспрессивными образами мчащихся по лесу деревенских старух – таких живых, таких узнаваемо родных.

Деревенские старухи
собралися по грибы.
Думы думали – надумали
меня с собою взять.
Слушать веньгалу устали
и решили-таки взять.

Деревенские старухи
быстро в тёмный бор бегут.
Бьют корзины по корявым
узловатым их ногам.
Мне, девчонке, не угнаться –
быстро так они бегут.

Вот рассыпались по лесу
Полька, Манька и Олёна.
Только крики оглашенных,
что на мху они сейчас.
Голоса как у девчонок,
и глаза как у девчонок.
Точно ведьмы пролетают,
только вересги трещат...

Звуковые повторы помогают передать почти ритуальную отлаженность согласованного действа, выразительное народное звукоподражательное слово "веньгала" обогащает фонетический строй стиха, как и обилие ассонансов и аллитераций. Непосредственные, свойственные детской речи конструкции и обороты, подчёркнутый динамизм действия напоминают Николая Олейникова и обэриутов, роднят стихотворную речь Аввакумовой с "наивной" поэзией Николая Глазкова.

Но жанровая картинка, детское воспоминание, окрашенное фольклорно-сказочным колоритом, перерастает свои пространственно-временные границы, перетекает в иной план. И припавшие к родным могилкам старухи тихо-тихо уплывают в вечность:

На погосте, что над старой,
ох и тёмною водою
и деревней кривопятой
по фамильи Сухой Нос, –
и всего креста четыре,
серебристых и трухлявых.
Там, под этими крестами,
наши памяти лежат.

Деревенские старухи,
несдавучие старухи
Полька, Манька и Олёна
на могилки прилегли.
Тихо. Тихо.
...Пристань Тихонь.

В этом стихотворении особенно чувствуется та речевая свобода, то языковое богатство, унаследованные Марией Аввакумовой от многих и многих поколений русских людей, которые впоследствии позволят ей расширить рамки языка своей эпохи, дать "право голоса" этим поколениям, намолчавшимся, настрадавшимся, почти онемевшим от нескончаемых жизненных тягот и трагедий русской истории. Позже она осознает как свою человеческую и творческую задачу – оправдать надежды всех тех, "чей пожизненный подвиг" определил её человеческую и поэтическую судьбу:

Я вырасту так, чтобы видно
всем – вас,
воздымаемых мной
из войн, из побоищ, из горя,
из крови, из боли, из ран, –
Прасковья, Олёна, Григорий,
Егорий, Василий, Степан…

Подлинная свобода существования в бескрайней стихии родного языка обреталась поэтессой исподволь, но уже в ранней лирике проявляла себя привольной, живой интонацией, прорвавшихся в стихи из родовой памяти словах; архаизмы порой становятся в её стихах семантическими неологизмами, корневые значения слов раскрывают свои смысловые оттенки: *"заглядясь на небесную паву, буду тихо душой ворковать"* ("пава" здесь вбирает в себя и птицу, и паволоку). Обретённая свобода жизни в мире родного языка – словно свобода любимого ребёнка в родной семье. Всё в этом языке родное: и книжное, и разговорное слово, и современное, и древнее, и самый строй речи – естественный, органичный, каждым оборотом и синтаксической конструкцией свой и при этом извечный, наследственный. Для неё естественно сказать *"небес долонь"* и *"земля натрудилась, наробилась вдосталь"*, услышать, как ворона *"рехает от скуки невпопад"*, заметить, что в мартовском лесу *"кажинное дерево – струночка, кажинная веточка – звончата"*, как и слить в одной строфе слова разных эпох и стилистических рядов: *"Омовейное нежное детство – даже в голоде, вошках и струпьях, – пожалей меня словом жалейным…"*, назвать облепиху *"возлюбленной подругой"*, *"древой непорочной"*, о себе пропеть частушкой:

Я мукалка, я пикалка:
пи-пи-муму-хаха.
Зверушка-недотыкомка,
промашка петуха.
Я пикалка, я мекалка:
пипи-хаха-меме.
Такая моя песенка,
и я в своём уме.
В своём уме,
не в вашенском…

А о мучениках-лучниках наших дней сказать древнерусским словом: *"Плачеи отвоют души их на погостах древнерусскиих так, как будто самолучшие отплывают в лодках узкиих"*.

Даже если бы Мария Аввакумова не выяснила свою родственную связь с мятежным протопопом Аввакумом, сыгравшим исключительную роль в становлении русского литературного языка, эта связь всё равно обнаружила бы себя, ибо лучшее доказательство этого родства – сама поэзия Аввакумовой, явно унаследовавшая то главное, о чём, характеризуя протопопа Аввакума, говорил Д.С. Лихачев: "Всё русское в жизни, в повседневном быту, в языке – вот что радует Аввакума, что его живит, что он любит и во имя чего борется.

И речь Аввакума – его "ковыряние" и "вякание" – это русская речь; о её национальном характере Аввакум заботится со всею страстностью русского человека; её резкие национальные особенности перекрывают все её индивидуальные признаки".

Укоренённость поэзии Марии Авакумовой в родном языке – самая прочная связь, дарующая чувство родства со всем русским космосом. Наверное, не сразу это было осознанно поэтессой, хотя интуитивно, всё через то же слово, вероятно, ощущалось с юности. Спустя десятилетия, на рубеже тысячелетий, на сломе эпох Аввакумова осознает спасительность сделанного ею выбора, определяющего высоту и жертвенность пути человека, не отрекающегося от своих национальных основ:

Не бойся быть русским –
не трусь, паренёк,
Не бойся
быть русским сегодня.
За этим не заговор
и не намёк,
За этим – желанье Господне.

Он нас породил.
Он один и убьёт.
А прочие все – самозванцы.
Да их ли бояться!
Не трусь, паренёк,
На русский призыв
отзываться.

Прекрасное, ясное имя Иван.
Чудесное имя Мария.
Светите друг другу
сквозь чёрный туман,
В который попала Россия.

И в полной мере ощутит себя частью Руси-России, её трагической и высокой судьбы, её широты и бесприютности, прорывов и провалов, обретений и потерь.

Шутовская, скоморошья бесшабашность сплавляется с молитвенным вздохом, и рождаются стихи безукоризненной честности, камертонной точности звучания:

Мамке Волге поклонюсь.
Батьке Дону улыбнусь.
Помолюсь гряде свинцовой,
Небо – это тоже Русь.
Я – чудная, ты – чудак,
Съехал с матицы чердак.
Помолюсь звезде лиловой
Под созвездьем странным Рак.

Где ни ступишь – бурелом,
Надоело – напролом.
Помолюсь судьбе бедовой,
Чтоб не прыгала козлом.

Мамке Волге, батьке Дону,
Волку, белому батону,
Вербе тихой помолюсь,
К лику Божью прислонюсь:

Поддержи мя, Вседержитель,
Я немножко тоже Русь.

Но до этих стихов Мария Аввакумова прошла долгий и непростой путь.

Наскитавшейся ещё в детстве сначала по Русскому Северу, а потом и по всей огромной стране (Мария Николаевна родилась в деревне Пучуга Верхнетоемского района, в детстве жила в Верхней Тойме и Архангельске, точнее – его пригородах; окончив факультет журналистики Казанского университета, работала в газетах Татарии, Узбекистана и Калининской (Тверской) области; потом был "адов труд" на камбузе сухогруза "Максим Амосов", ходившего по Северному морскому пути, геофизические экспедиции в Забайкалье, в пустыню Кызылкум, на Камчатку; сейчас живёт в Москве), ей словно самой судьбой было уготовано испытать и пути-дороги, которые пролагали многие её современники, и при этом – в ином времени и при ином строе – повторить скитальчество предков-старообрядцев.

Не случайно Юрий Кузнецов назвал Марию Авакумову "странницей русской поэзии".

В стихотворении "Путешествие" с подзаголовком "Северные реки", как и в "Пристани Тихонь", бытовой план перерастает в бытийный, первое радостное путешествие ребёнка:

Это я,
пятилетнее чудо с глазами.
Это я
разгулялась Христом
над водами,
потому что под боком моим
мой хороший
пароход-скороход.
Настоящий. Колёсный

– оборачивается обречённостью на метафизические странствия, невозможностью причалить к берегу, закрепиться на его надёжной тверди:

А на палубе
ветрено очень и стыло.
Пароход упирается
в низкие тучи.
А вода всё назад,
всё назад уносилась,
словно было там лучше…
Я-то знала, что ехала
в город Архангельск.
Но проехали мимо него.
Не причаля.
О, напрасно над нами летала,
как ангел,
и о чём-то
нам белая птица кричала.
Понесла нас болтанка
по северным рекам.
А впадали те реки
не в тёплое море.
И носился за нами
по северным рекам
голос нашей сирены,
белой от горя.

С одной стороны, это уникальная, неповторимая линия судьбы, с другой – слепок жизни поколения.

"Судьба гнёт свою линию, нас не спрашивая, – сказала Мария Аввакумова в 1990 году интервью "Литературной газете", посетовав, что "навязчивые тяжести пережитого", идеологический гнёт тормозили её творческий путь, не давали раскрыть себя читателю во всей искренности и полноте, что её творческую молодость "продержали, как кота в мешке": "Мои тоненькие книжечки проходили многослойные фильтры, издавались, абы как".

Но всё же, говоря словами поэта Александра Роскова, Марию Авакумову "судьба на прямую вывезла по кривой", она сумела прийти и к себе – истинной, и к своему читателю. Сегодня этот путь – действительно, "по кривой", впотьмах, на ощупь, с претыканиями и застреваниями (недолгими, впрочем) в тупиках вроде "Апреля" или теософии – видится как путь к истокам, корням, роду, России, общерусской судьбе, путь, который в конечном итоге ведёт и к земному отечеству, и к небесному.

Всё её поэтическое восхождение – это поиск себя не только как уникальной личности, но и во взаимосвязи со всем сущим. Этот путь-поиск похож на кропотливый труд реставратора, слой за слоем снимающего позднейшие подновления в стремлении добраться до оригинала – не искажённого и не подновлённого облика-лика.

Результат этого пути – сегодняшняя поэзия Авакумовой, в том числе и два приведённых выше прекрасных стихотворения.

На снимке: *поэтессы Мария Аввакумова, Татьяна Смертина, Ольга Фокина*

Два разных сознания

Валерий СКРИПКО

О книге Игоря Золотусского "От Грибоедова до Солженицына"

Книга известного критика и литературоведа была издана в 2006 году. Но всё, о чём в ней пишется, до сих пор актуально и вызывает боль и тревогу за нашу страну. Читая книгу, ещё раз убеждаешься, как тернист и мучителен наш путь к духовному единству российского общества.

Одной из основных причин наших постоянных неудач в деле создания преуспевающего общества для большинства населения, скорее всего, является неправильная оценка правящими элитами положения России в мире.

По меткому выражению политолога Натальи Нарочницкой – с рационалистических позиций жизнь в России вообще нерентабельна из-за тяжёлейших природных условий и огромных расстояний.

Но все преобразователи нашей жизни неизменно оказываются утопистами, "веря во всесилие идеальных общественных институтов для Африки и Сибири, тундры и Франции".

Удивительное заблуждение! Логическому объяснению этот феномен не поддаётся.

В конце советских времён мне довелось работать помощником мэра одного города в районе Крайнего Севера. Однажды мы с мэром подсчитали сумму, которую наш город и район в целом тратят ежегодно только на покупку угля и печного топлива для котельных. Отопительный сезон обходится нам в сотни миллионов рублей.

Для интереса взяли стоимость строительства одного пятиэтажного жилого дома.

Оказалось, что за зиму "в трубу" в виде дыма и золы у нас вылетает около ста жилых домов – целый микрорайон.

С первым губернатором Иркутской области Ножиковым – в первые "перестроечные годы" – мы обсуждали планы занятости населения нашего района. Оказалось, что-то производить у нас просто невыгодно.

Затраты на производство, например, швейных изделий в четыре раза выше, чем на юге области. Может ли быть конкурентом для массы дешёвых китайских изделий продукция нашей северной фабрики?

Конечно, нет!

Значит, надо выстраивать совсем иную стратегию развития страны, мобилизовать для этой цели все творческие ресурсы общества.

А что происходит у нас?

Игорь Золотусский писал: "сейчас номенклатура строится отдельно. В соснах … прячутся их особняки… На русской шири одна формация сменяет другую. На смену романтизма советского образца пришёл стиль "экшн". Стиль натиска, напора, работы исключительно на себя. И – никакой жертвенности, никакого самоотречения".

Но… в российском экстриме любой гражданин просто не имеет права жить сам по себе. Если не заниматься насущными общими вопросами укрепления и развития общества, это общество ждёт судьба СССР.

В своей книге Золотусский приводит мнение дипломата и поэта Александра Грибоедова, который использует такое понятие, как "государственный быт", что гораздо долговечнее "строя" или "режима".

Ведь "быт" – это то, что складывалось веками, выстроено историей. И что "уходит в глубину традиции".

В книге Золотусского есть и мнение Пушкина о том, что открытая дорога для всякого русского это "соединение с правительством в труде просвещения и воспитания…".

Но на протяжении последних двух веков подлинного духовного строительства у нас не получилось. В стране действовало несколько разных духовных центров с очень разными векторами жизненных целей.

Архимандрит Фотий с графиней Орловой-Чесменской возрождали православные монастыри и храмы. А в светских салонах Москвы и Петербурга – смеялись над их святостью, читая обидную эпиграмму... о том, что графиня Анна Орлова душой принадлежит Богу, а "грешной плотию – архимандриту Фотию".

Эта грязная сплетня была для "высшего" света важнее, чем тот факт, что Орлова передала православной церкви всё своё огромное состояние, полученное от отца.

Духовная жизнь в России издавна развивалась как бы вопреки воле и без участия большинства. Пушкинский журнал "Современник" так и не стал популярным у современников. Очень скоро тираж резко упал.

Зато процветали издания с описаниями приключений, скандалов, убийств и зверств. Этим славились "Северная пчела" и "Библиотека для чтения".

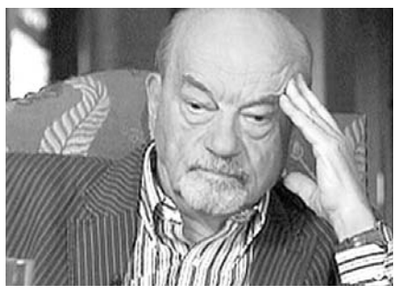
И они выходили тиражом до пяти тысяч экземпляров. Их выписывали в столицах, ими зачитывались в провинции. Среди клиентуры были обедневшие помещики, мелкое чиновничество третье сословие.

Это было духовное обывательское "болото", которое словно дожидалось "золотого века обывателя", который наступит через полтора столетия. Это "болото" хорошо описано рано ушедшим из жизни писателем Николаем Помяловским. Он писал свои повести в первой половине 19-го века, "под боком" у самого Льва Толстого и других классиков…

Но при чтении его книг не покидает ощущение, что он описывал какую-то другую Россию… больше похожую на нашу – современную, потребительски настроенную. Герои его повестей – гениально угаданный прообраз нашего среднего класса и потребителя вообще, с гордыней вместо веры, с набором заблуждений вместо ясных идеалов.

Именно такие "герои", почти без изменений перекочевав в более поздние времена, с энтузиазмом воспримут все бредни наших писателей-западников как истину в последней инстанции. Именно они – молча, десятилетиями будет терпеть цинизм и русофобию многочисленных космополитов, оплёвывающих Россию.

Только в "болоте" российской обывательщины мог появиться писатель Владимир Войнович, который допускал смех, в том числе и над верой. Игорь Золотусский, приводя "мнение" этого русофоба, ужасается такому противоестественному явлению в нашей духовной жизни, как Войнович, и иронизирует над его точкой зрения: "Если нам не дадут прав, мы и обязанности исполнять не будем?



То есть перестанем работать, кормить семью, помогать слабым. Для того чтобы всё это делать, нам нужны конституционные права?".

"В старой России, – замечает по этому поводу Золотусский, – у граждан не было никаких прав, но строились города, производился продукт, и была великая литература. Откуда они взялись? Есть права, установленные законом, и есть – установленные свыше. И эти права выбираем мы сами. И именуются они внутренней свободой. Эти права написаны в сердце, а не на бумаге. Боготворя "конституционные права", можно стать рабом этих прав! Рабом добровольно принятых обязанностей сделаться невозможно. Эту истину две тысячи лет исповедует христианский мир".

Какая верная мысль!

Игорь Золотусский так же чётко различает, что "в лице Гоголя и Достоевского встречаются две эпохи – эпоха романтическая, эпоха поэзии, осознающей мир через чувство и страсть, и эпоха сомнения, эпоха расщепления и проверки "святых чувств".

Но российское общество, увидев себя в ярком свете беспощадного анализа великих писателей, лучше не стало. Истинная религиозность и романтизм – были утеряны, а новый продуктивный рационализм – так и не появился.

Наша интеллигенция два последних века занималась чем угодно, только не созданием государственного быта в том значении, как понимал его наш великий государственник Грибоедов. Очень это хлопотное дело – строить великую страну! Требует немалых усилий, самоограничений, а часто мужества и стойкости. Такой государственный быт – это сочетание прав и обязанностей.

При обязательном чувстве ответственности за общее дело!

Но полуинтеллигент обыватель, или чужой по духу космополит хотят прожить в России, как в развлекательном клубе, или супермаркете, ничем не жертвуя, "качая свои права", и не признавая никаких обязанностей.

Не устаёшь поражаться как – терпит страна их тошнотворную развязность, их неуважение к народным святыням? Это же некое подобие монголо-татарского ига!

Где вы, новый Сергий Радонежский и Дмитрий Донской?

В России "идёт борьба между Богом и дьяволом" не только в сердце каждого человека (по образному выражению Достоевского). Эта борьба выплеснулась и в общественную жизнь России, смешала привычный ход вещей, все попытки государевых мужей просвещением "исправить нравы". Вместо создания нации, неповторимой духовно, мы получили "плавильный котел", в котором всё растворяется, всё кипит… но никак не доходит до нужной кондиции. В этой духовной "доменной печи" под названием Россия – побеждает то одна, то другая "социальная смесь", но на выходе – всё нет и нет прочного духовного металла под названием – нация!

А ведь дал нам Господь шанс – в лице славянофилов – создать российскую нацию. Но дьявол – в образе интеллектуалов-западников – помешал.

Протоирей Михаил Ардов в своей книге "Улыбка и мурлыкание" сравнивает семейный быт славянофилов, их замечательные семьи, их целомудренность в духовных вопросах с сатанинскими нравами наших западников, занятых поиском всё новых и новых любовниц, новых развлечений, всего чего угодно, но только не жизни по Божьим заповедям. Со славянофилами у них были два разных бытия. Два разных сознания, непримиримые между собой. Славянофилы не писали о женском вопросе, не говорили о "хрустальных дворцах будущего", были религиозны не только в факте, но и в мысли своей.

Западники – это "сплошной женский вопрос", "прогресс", "хрустальный дворец" в близком или далёком будущем, атеизм, фурьеризм и прочее.

Кажется, князь мира жутко испугался, когда по воле Божьей появились славянофилы – удивительное творение православия, образования и быта патриархальных дворянских семей. Феномен, которому возрадовался бы апостол Андрей Первозванный, посетивший в своё время наши края!

Но к опыту славянофилов надо вернуться. Работы А.С. Хомякова и других наших духовных лидеров прошлого ещё ждут современных продолжателей их благородной духовной миссии! Придут продолжатели, и появится надежда.

Пойдёт за ними большинство, и мы – возродимся!